

---

---

# **Атомистический принцип в концептуализации естественного вербального процесса: телесность алфавита и “языка”\***

**А.В. ВДОВИЧЕНКО**

Атомизм рассматривается в статье как синоним принципа естественного аналитизма, составляющего основание как для учения о мельчайших частицах, так и для алфавита. Автор критикует ошибочные представления, возникающие из понимания лингвистического объекта как совокупности смысло-формальных единств (слов), предлагая объяснение феноменов естественной вербальной коммуникации в рамках концепции коммуникативного действия, которая дает возможность локализовать процессы смыслообразования в сознании коммуниканта и избавить предметно ориентированную теорию языка от “смехотворности” (замечной еще Платону). Вместо теоретически неэффективного понятия “язык” признается фундаментальное значение коммуникативной типологии и коммуникативного синтаксиса, которыми оперирует сознание говорящего. Автор не видит принципиальных отличий между алфавитным и иероглифическим способами фиксации “вербальной материи”, считая их вторичными по отношению к вербальному коммуникативному процессу, в ходе которого производятся и интерпретируются личностные, ситуативные, осознанные действия коммуникантов. По его мнению, атомистический (естественно аналитический) подход к вербальной форме дезориентирует теорию вербальной коммуникации, поскольку представляет вербальный коммуникативный процесс в виде упрощенной прямой схемы “предметный знак – мыслимое значение”, поэтому ценность атомизма как метода в области языкознания определяется по мере актуальности и работоспособности в данной описательной схеме, а не в абсолютном измерении.

In the article atomism is considered as a synonym of the principle of natural analytism which forms the basis for both the doctrine of the smallest particles, and for the alphabet. The author criticizes the erroneous statements arising from understanding linguistic object as sets of meaningful and formal corporal unities (words), offering an explanation of phenomena of natural verbal communication within the concept of communicative action which gives the opportunity to localize the meaning-generating process in the consciousness of a speaker, and to

---

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-03-00547 – “Атомизм и мировая культура”.

© Вдовиченко А.В., 2014 г.

relieve the object-focused linguistic theory from “ridicule” (which was ever noticed by Plato). Instead of theoretically inefficient concept “language” the author admits the fundamental value of communicative typology and communicative syntax with which the consciousness of a speaking operates. The author doesn't see fundamental differences between alphabetic and hieroglyphic ways of fixing “the verbal matter”, considering them secondary in relation to natural communicative process during which personal, situational, conscious actions are made and interpreted. In author's opinion, atomistic (naturally analytical) approach to a verbal form disorients the theory of verbal communication because it represents the verbal communicative process in the form of a simplified direct-flow scheme “corporal sign – imaginable meaning”. Therefore the value of atomism as a method in the field of linguistics is determined by a working capacity measure in a given descriptive scheme, not in the absolute measure.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** атомизм, алфавит, язык, естественная вербальная коммуникация, способы фиксации коммуникативных действий, телесность элементов вещества и языка.

**KEY WORDS:** atomism, alphabet, language, natural verbal communication, ways of fixing communicative actions, corporality of linguistic elements.

Атомизм как возникшая из практики идея о разделении на предельно возможные части стал основанием атомизма как учения о предельно малых частицах вещества (например, атомизм Левкиппа, Демокрита). Тот же атомизм (та же практическая идея, тот же принцип) стал основанием для создания алфавита как набора дискретных знаков для звуков (всех или большинства), составляющих естественную фонетическую базу некоторого сообщества говорящих. По-видимому, можно говорить о естественном аналитизме как синониме атомизма (принципа и метода), логическим завершением которого является предельно возможное разделение целого, доступное практикующему и теоретизирующему сознанию.

Для изложения *языковых* проекций атомизма я вынужден сначала попытаться несколько потеснить *априорные представления* о лингвистических объектах, неизбежно вовлекаемых в рассуждение.

*Первое априорное представление*, с которым нельзя согласиться: алфавит (или набор иероглифов) есть способ изображения языка; **язык (средство вербальной коммуникации, представляющее собой разнообразные сочетания звуков), записывается графическими знаками.**

В основании этого ошибочного представления, слишком тесно и “сущностно” связывающего язык и алфавит, лежит **спонтанное видение лингвистического объекта как произносимых слов.** Слова можно записать, изобразить, что в результате провоцирует допущение, что лингвистический объект (“язык”) и есть то, что написано буквами, то есть алфавитом. Язык, таким образом, становится всем тем, что состоит из букв-звуков, – в конечном счете, неким принципом организации звуков (букв) вместе с самой звуко-словесной материей. Звуки (буквы) охватывают все, что составляет язык.

Здесь же актуализуется *второе априорное представление*, с которым также нельзя согласиться: **“записанный буквами (иероглифами) язык” представляет собой то же самое, что естественный коммуникативный процесс с использованием вербального канала**, или способ (набор правил) осуществления вербальной коммуникации, аутентичный для данного лингвокультурного сообщества.

В свою очередь, *третье априорное представление*, требующее переосмысления, состоит в том, что **предметные элементы языка наделены смыслом**, являются носителями значений, представляют собой слагаемые актуальной смыслодержающей суммы (значения высказывания).

Роль этих спонтанных представлений в построении модели естественного вербального процесса иллюстративно представлена платоновским “Кратилом”, где автор создает свои теоретические конструкции на основе этих не подвергаемых сомнению априорных

позиций, своего рода аксиом, мыслимых по умолчанию, и в результате приходит к закономерному итогу – к смылосодержащим звукам как фундаменту осмысленной речи (логоса):

“Сократ. <...> Случается ли тебе о чем-нибудь говорить: это истинно сказано, а это ложно?”

Гермоген. Мне – да.

Сократ. А посему одна речь может быть истинная, а другая ложная?

Гермоген. Разумеется.

Сократ. В таком случае тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, лжет?

Гермоген. Да.

Сократ. Получается, можно вести речь и о том, что есть, и о том, чего нет?

Гермоген. Верно.

Сократ. А истинная речь истинна целиком или при этом части ее могут быть неистинными?

Гермоген. Нет, и части тоже будут истинными.

Сократ. А как? Большие части будут истинными, а малые – нет? Или все будут истинными?

Гермоген. Все. Я, по крайней мере, так думаю.

Сократ. Так вот: то, что ты называешь малой частью нашей речи, отличается от имени?

Гермоген. Нет. Имя и есть наименьшая часть” (“Кратил” 385с, здесь и далее цитируется перевод Т.В. Васильевой по изданию [Платон 1990]).

Далее, следуя за видимым предметным элементом речи, которая предстает теперь в виде набора имен (а имя мыслится как возможное подражание сущности, причем в разряд имен попадают не только существительные, но и другие знаменательные “части речи”), лингвистическая рефлексия, наконец, упирается в звук (букву) как минимальную часть имени, достигая предела аналитизма: “Сократ. Однако какой бы нам найти способ различения того, где именно начинает подражать подражающий (то есть изобретатель автореферентных имен. – *А.В.*)? Коль скоро это будет подражанием сущему посредством слогов и букв, то не правильнее ли всего начать с различения простейших частиц?” (“Кратил” 424b).

Здесь суждение, что имена состоят из “букв” (то есть звуков) и слогов, также обладает полнейшей очевидностью, не обсуждается, что логично следует из априорного признания принципиальной делимости речи на части, имеющие свои значения.

Таким образом, если интерпретация естественного говорения строится как процедура анализа вполне осязаемого объекта (словесной материи, составленной из видимых букв / слышимых звуков), теоретик вынужден требовать от них прямого участия в смыслообразовании. В рамках избранного направления исследования такое требование совершенно логично: если у логоса есть смысл и у слова есть смысл (а они предметны, телесны), то смысл присутствует в каждом участке, в каждой части этой предметной данности, в том числе в букве (звуке). Строгая дисциплина мысли (в рамках избранного метода) в том и состоит, что если целое (логос, некоторый объем воды) имеет какое-то свойство (смысл, прозрачность), то часть (буква, капля воды) будет обладать тем же свойством (смыслом, прозрачностью).

Однако на избранном направлении Платон как дисциплинированный теоретик достигает точки абсурда: дойдя до букв (звуков) и оказавшись перед необходимостью сохранять верность своему аналитическому принципу, он вынужден сделать извинительную и самоизобличающую ремарку, ставящую под сомнение весь эвристический потенциал предпринимаемого дробления смылосодержащей речи на мельчайшие смылосодержащие части: “Сократ. Смешным, я думаю, должно казаться, Гермоген, что из подражания посредством букв и слогов вещи станут для нас совершенно ясными. Однако это неизбежно, ибо у нас

нет ничего лучшего, к чему мы могли бы прибегнуть для уяснения правильности первых имен” (“Кратил” 425d).

В самом конце диалога автор еще раз высказывает свои сомнения в правильности избранного направления исследования: для познания сущности вещи Сократу кажется недостаточным знание самого слова, разъятого на элементы; необходимо знать что-то еще (“Кратил” 439a).

Впрочем, все огромное пространство диалога заполнено как раз тем, что заранее анонсировано как “смехотворное” – описанием “подражаний посредством букв и слогов”: греческое “ро” интерпретируется как средство выражения всякого движения, “йота” – всего тонкого, способного проходить через вещи, “лямбда” – скользящего и клейкого, и т.д. Из первых имен, возникающих с участием таких “семантических компонентов”, путем причудливых трансформаций (скорее, даже деформаций) возникают затем прочие, “не-первые”, имена.

Эти сомнения, подозрения в смехотворности и необедительности (на фоне, к тому же, огромного массива продукции, созданной “смешным” исследовательским методом), похоже, говорят о том, что Платон, встав на твердую почву языковой предметности (“объективных данных языка”, полученных предметно-аналитическим, или ан-атомистическим, методом), в конце концов обнаруживает себя в теоретическом тупике. Он вынужден интерпретировать значения слов из составляющих их букв (звуков), поскольку, кроме предметных единиц логоса, у него нет ничего лучшего, к чему можно было бы прибегнуть для построения модели смыслообразующего вербального процесса. Даже если усомниться в такой прямоочной зависимости смысла от букв (звуков), как это сделал Платон в начале и в финале “Кратила”, то несомненное признание смыслов (значений) за целостными словами (уже не за буквами) все равно оставляет исследователя на почве вербальной телесности и не дает ему покинуть пределы, заданные автономными смысло-формальными элементами. Так, Аристотель подтвердил, что слова, даже вне соединения и разъединения (то есть вне актуальной речи), в отличие от букв, “имеют какой-то смысл” (“Об истолковании” 1 ба, здесь и ниже перевод Э.Л. Радлова в редакции [Аристотель 1978]), подразумевая, соответственно, что смыслообразующая речь возникает из этих автономных смысло-формальных единиц.

Как видно, чтобы оказаться в такой теоретической ситуации, исследователь языка (в данном случае Платон и Аристотель) с самого начала должен отнести к области “дано” не обсуждаемые, не подверженные сомнению априорные “подлежащие”: смыслообразующая речь (язык) представляет собой совокупность слов, имеет в своем основании телесные объекты (в частности, логос – несомненно для Платона – делится на части, изображается буквами, состоит из предметных единиц, то есть произнесенных или записанных букв, слогов, слов, предложений и пр.); единицы речи (языка) имеют собственные значения, суммирование которых дает общее значение высказывания.

Избавление возводимой на этом основании теории от “смехотворности” возможно, как представляется, только путем замены фундаментальных теоретических “подлежащих”. В общем смысле речь идет о необходимости признать нетождественность взятых в обособленности единиц (букв, звуков, слогов, слов, предложений), невозможность их самореферентности, их смысловую неавтономность, отсутствие собственных источников смыслообразования и др.

На современном этапе эволюции лингвистического знания источник тождества (понимания в единообразии) элементов вербального процесса, по-видимому, следует искать в концепции *личного коммуникативного действия*, в составе которого вербальные элементы – неопределенные и бессмысленные “сами по себе” – приобретают единое мыслимое в тождестве когнитивное содержание. Естественный вербальный материал всегда и непременно существует в связанном, дискурсивном состоянии. Элементы, выделяемые на различных уровнях анализа вербальной материи, имеют значение только как часть личного действия говорящего, который оказывает возможное, с его точки зрения, влияние на осмысленную ситуацию. Иных источников смыслообразования, кроме сознания действующего коммуниканта, в материи слов не содержится. Конкретная коммуникатив-

ная синтагма, параметризованная говорящим, а затем интерпретатором, становится той единственной системой координат, в которой приобретают значение формальные элементы вербального процесса. В свою очередь, чтобы воссоздать значение изолированного элемента (“значение само по себе”, согласно Аристотелю), необходимо воссоздать некоторую известную интерпретатору коммуникативную синтагму, в которой возможно употребление данного элемента (заметим, что холистический подход в данном случае получает закономерное преимущество перед элементарным). Только в такой конкретной системе координат и в связанном состоянии [ja] становится указанием данного говорящего на себя, то есть “я” (впрочем, в иной коммуникативной синтагме [ja] может вовсе не быть указанием на говорящего, а, например, стяженным “yes”, или немецким “Ja”, и пр.).

Заметим, что коммуникативный подход к материи слов ведет к признанию теоретической неэффективности понятия “язык”, что следует из несамотождественности безличного, не вовлеченного в конкретную коммуникативную синтагму материала. Место “языка” в дискурсивной модели вербального процесса занимает *коммуникативная типология*, известная участнику коммуникации. Она же является источником для создаваемой грамматической матрицы. Так, например, грамматическая “система лиц” строится на основе типологических позиций говорящего в коммуникативном пространстве и только поэтому встраивается в “систему языка” как ее “подсистема”. В этом смысле говорящему на родном языке известен не “язык”, а *типология коммуникативных синтагм, или ситуаций*. (Охватить ее *неаутентичному* участнику лингвокультурного сообщества помогает грамматика, представляющая собой неточный, но в ряде случаев удобный инструмент мнемотехники; напротив, *аутентичному* участнику известны способы коммуникативного действия в сегментах лингвокультурного пространства, в том числе соответствующие вербальные модели реализации коммуникативных ситуаций, или клише, на основании которых потом и создается грамматическое – не нужное носителю языка – мнемотехническое описание.)

Представленные в современном состоянии лингвистического знания направления, часто эксплицируемые формулами “язык в сознании”, “язык в тексте” и “язык в употреблении”, каждое по-своему ведет к отрицанию самой абстракции “язык” (в которой, заметим, коренятся причины многих концептуальных и практических неясностей).

“Язык в сознании” в конечном счете ведет к признанию *несловесности* выражаемых значений. Мысль локализуется на стадии планирования действия, в том числе словесного высказывания. Кванты мыслительного процесса никоим образом не совпадают с автономными словами, которые, в свою очередь, никоим образом не соответствуют платоновско-аристотелевским “сущностям вещей” – ни “первым”, ни “вторым”. Сознание, которому вне коммуникации “язык” не нужен вовсе, назначает объекты и их связи, актуализованные в данный момент, то есть, другими словами, “сущности вещей” не сами по себе отражаются в “языке” и действуют в сознании, а попросту не существуют – не могут быть ни выделены, ни поименованы – до актуального мыслительного процесса. Оформление объектов и их множеств, разбиение на части или классы ранее выделенных объектов происходит в сознании по мере субъектной актуальности. Если результатом “мыслей” становится признание необходимости и возможности действовать в коммуникативном пространстве, коммуникант привлекает известные ему вербальные клише, которым сознание его, а затем интерпретатора, приписывает значение, соответствующее мыслимой ситуации. Процесс смыслообразования, протекающий в сознании воспринимающего речь адресата, состоит в усвоении “внутренних состояний”, или “мыслей” говорящего (пишущего), послуживших причиной и условиями данного действия.

Последовательное рассмотрение “языка в тексте” в конце концов выводит *за пределы вербального текста* и отсылает к осознанной коммуникативной ситуации, мыслимой в каждый конкретный момент актуального говорения. Текст, составленный из устных или написанных “предложений”, представляет собой ряд действий, которые осуществляются в каждый раз заново осознанных меняющихся условиях. Этот ряд организован активным сознательным процессом, направленным на достижение результата коммуникации. Другими словами, место вербального текста, составленного из несамотождественных элементов, занимает “связность” иного рода – мыслимая коммуникативная ситуация (дискурс),

предлагающая собственные семантические и синтаксические параметры, посредством которых сознание интегрирует предметные вербальные элементы. Любая совокупность слов вне актуального действия оказывается обманчивой, поскольку никакой текст (или произвольно избранный его отрезок) не может теоретизироваться как автономный количественный объект.

В свою очередь, “язык в употреблении” вбирает все аутентичные условия естественного вербального процесса, среди которых со всей очевидностью *не находится места* “единому предметному инструменту говорения и понимания”. Актуальный вербальный процесс (использование словесных моделей в целях (воз)действия) всегда реализуется как мыслимый (когнитивность), обусловленный воспринятыми обстоятельствами (ситуативность), необходимый говорящему (актуальность), предполагающий мыслимого адресата (коммуникативность), предназначенный к воздействию (акциональность). Абстракция “язык” не в состоянии вместить ни одного из аутентичных свойств естественного коммуникативного процесса, поскольку слово, и соответственно, словесный “язык”, понимаемые по-платоновски и признаваемые самотождественными теоретическими объектами, не оставляют никаких шансов коммуниканту, хотя именно он – один из немногих самоочевидных участников реального речевого процесса – задает собой все аутентичные признаки естественного вербального материала. Для концепции “языка” главным неудобством становится свобода говорящего, которую традиционная “языковая” теория фактически вынуждена отрицать, констатируя общий “инструмент” говорения/понимания. Парадоксальным образом в естественном вербальном процессе самотождественным (понимаемым в единстве) оказывается субъективное содержание, а не объективная форма: первое, оставаясь одним и тем же, может быть выражено различными словами, различными способами, на разных языках и пр., в то время как вторая, не имея жесткой платоновской привязанности к “идеям”, чтобы приобрести “значение”, должна быть наделена субъективным содержанием и субъектно интерпретирована, то есть сопряжена с говорящим и лично воспринятой ситуацией вербального действия.

Неэффективность абстракции “язык” ощущается особенно остро, когда замечается его внесубъектная бессмысленность или отсутствие в нем (самом по себе) каких-либо актуальных значений. Комбинаторика элементов, описываемая грамматикой и словарем как всеобщие правила “языка”, не выражает ничьих “мыслей”, интенций, “ментальности”, “духа” или каких-то когнитивных состояний, которые свойственны любому естественному говорению. Только проекция на коммуникативную ситуацию, которая воспринята лично и в которой реализуется личное действие, позволяет осуществить процедуру смыслообразования – со стороны адресанта и адресата. Личное спроецированное на ситуацию действие составляет единственный интерес как самого коммуниканта, так и любого интерпретатора, прямого или косвенного. Любой предметный факт “языка”, лишенный аутентичных условий, в которых он стал (или может стать в мыслимой проекции) личным действием, превращается в нечто иное, отличное от *актуального* употребления данного предметного вербального факта. Так, “пришел, увидел, победил” не значит ничего до помещения в актуальную ситуацию (не понятно кто, где, когда, зачем сказано и пр.). На фоне того, что “язык” (то есть оторванные от коммуникативной почвы “грамматика и словарь”) традиционно считался носителем выражаемых значений, его реальная внесубъектная пустота выглядит главным изобличающим свидетельством.

Вероятно, именно здесь сталкиваются две ключевые позиции и две ныне конкурирующие парадигмы – античная и коммуникативная. Речь идет о возможности или невозможности утверждать, что словесное высказывание значит нечто само по себе. Одним из вариантов традиционного ответа на этот вопрос является признание так называемых самореферентных высказываний. Другими словами, логический подход, согласно которому само высказывание имеет значение, оказывается последним оплотом античной схемы вербального материала, и элиминируется признанием, что высказывание *само по себе* не может что-либо означать.

Эта проблема в новейшее время была, по-видимому, поставлена Остином, который попытался, оставаясь на почве логики, спасти традиционно логическую часть вербаль-

ного материала, а именно *суждения (констативы)*, от причисления к новооткрытым перформативам, которые с очевидностью не имеют свойств истинности или ложности. Тем самым он пытался спасти не только классическую логику, но и сам античный “язык”, который с появлением на сцене “действия”, и соответственно, “деятели” (говорящего, то есть реального источника всех смыслов и действий) утрачивал свои позиции в смыслообразовании. Однако, несмотря на усилия Остина, действием оказывается *любое* высказывание. Из этого, в свою очередь, следует, что никакое актуальное высказывание не может быть самозначным (словесное действие осуществляется только для того, чтобы реализовать *субъективные интересы говорящего*). Соответственно, высказывание не может быть и самореферентным, поскольку “референтом” в любом естественном высказывании выступает только говорящий. В свою очередь, это означает, что самозначный “язык” не может рассматриваться как корректный теоретический объект (подробнее см.: [Вдовиченко 2008]).

Итак, языковая материя (предметность, элементарный уровень), вводимая указанными априорными положениями как главный объект лингвистического описания, существенно меняет свой статус при введении в описательную схему концепции личного ситуативного мыслимого коммуникативного действия: если “частицы” материи рассматриваются “сами по себе”, вне актуальной конкретной ситуативной субъектно мыслимой коммуникативной синтагмы, “свойствами” языковой материи (различных уровней анализа) становится нетождественность, “стихийность”, хаотичность, бессмысленность.

На фоне отвергнутых априорных положений (достаточно, впрочем, распространенных и вовсе не сдавших свои теоретические позиции по сей день) обозначим некоторые *языковые проекции атомизма* (как принципа и как учения о частицах).

**1. Между алфавитным и иероглифическим способами фиксации “вербальной материи” нет принципиальных отличий.** И то, и другое глубоко вторично по отношению к коммуникативному процессу с использованием вербального канала. Этот процесс принципиально един для иероглифических и алфавитных культур. Участники лингвокультурных сообществ не говорят иероглифами или буквами, а фиксируют посредством иероглифов или букв “телесную” часть коммуникативных синтагм, по которой может быть потенциально воссоздана их изначальная когнитивная целостность (“искомое”). В обоих случаях первичной является смыслопорождающая практика взаимодействия с использованием слов, то есть коммуникативный процесс, в котором участниками параметрируются ситуации взаимодействия, выделяются объекты, создаются схемы, устанавливаются связи, преследуются субъектные цели и т.д. Для воссоздания целостной ситуации аутентичной коммуникации по графическому “следу” необходимо возвращение в невербальную когнитивную сферу автора коммуникативного действия, которое в случае графической фиксации осуществляется через промежуточный пункт воссоздаваемой сначала устно-вербальной формы. Так, в самой мысли коммуниканта о том, что данной аудитории нужно что-то сообщить, приказать, о чем-то попросить, нет ничего облеченного в вербальную форму. Однако для реализации просьбы, сообщения, приказа можно воспользоваться доступными (аудитории и говорящему) вербальными моделями (как, впрочем, и иными знаковыми способами). Слова, часто “звучащие” в сознании коммуниканта, представляют собой проекции коммуникативных ситуаций и действий, возможных в их рамках. С этой точки зрения “мыслить на языке” невозможно, поскольку когнитивный процесс принципиально невербален. Поэтому смыслообразование с позиции интерпретанта возможно только как воссоздание мыслимого действия автора (то есть идентификация выделенных автором объектов, связей, роли в коммуникативной ситуации, целей, избранных способов реализации, активированных фреймов и пр.). Производя восхождение к невербальному смыслу, интерпретант пользуется всей достижимой полнотой данных, которые позволяют осуществить смыслообразование. Как мнимо-“алфавитное” сознание европейца, так и мнимо-“иероглифическое” сознание китайца едины в механизмах семиозиса, осуществляемого в сфере коммуникации, в том числе вербальной.

Отличия между способами фиксации вербальной коммуникации (фонографического, или алфавитного способа vs иероглифического, или идеографического) следует интерпре-

тировать как глубоко формальные, не затрагивающие сути коммуникативного процесса. Важно отметить, что искомым в рассмотрении этих способов является процесс смыслообразования, то есть главный конечный пункт всех рассуждений о данных “языка”. С точки зрения смыслообразования, фиксация вербальной материи имеет целью трансляцию во времени и пространстве (в том числе сохранение) коммуникативного действия. Специфику словесной (в отличие от иной знаковой) коммуникации определяет использование *вербального* канала, но его предметные элементы не тождественны сами по себе, источником их тождества выступает все, что содержится за их пределами (в сознании коммуниканта, назначающего действие, в том числе вербальное). Поэтому всерьез говорить о смыслопорождении с участием вербальной материи и о специфике ее фиксации можно только на основе *когнитивного невербального тождества* мыслимого коммуникативного действия (оно, заметим принципиально едино для иероглифических и алфавитных культур). В этих условиях тот или иной способ фиксации становится формальностью и сводится к вопросу о том, какой из них эффективнее и удобнее в данных коммуникативных условиях.

Обстоятельство, определяющее собой удобство китайского иероглифического письма (если не вдаваться в подробности эволюции китайской иероглифики и различных вариантов ее трансформаций), состоит в односложности китайского слова (или слова-морфемы) и в неизменяемости их форм. Используемые коммуникативные клише произносятся неделимыми частями, в состав которых входят закрепленные, спаянные между собой отдельные звуки (не более 1000 аутентичных вариантов, в обиходе намного меньше, около 300). Разбивать эти фонетические комплексы на более мелкие части при записи просто нет необходимости, поскольку отдельные звуки в составе этих комплексов всегда занимают стабильное положение по отношению друг к другу. Поэтому набор иероглифов фактически представляет собой тот же алфавит, только иероглифические знаки коррелируют не с отдельными звуками, а с односложными неизменяемыми комплексами звуков (словами или морфемами). Иначе говоря, китайский алфавит представляет собой набор знаков для дифтонгов, трифтонгов и тетрафтонгов. Эти неизменные “-фтонги” одновременно являются значимыми словами (морфемами), они имеют отдельный смысл, который и делает возможным их отдельное изображение (которое некогда имело черты предметного сходства с доступными для изображения объектами и первоначально составляло основу их запоминания, как и в других иероглифических и неироглифических культурах). Иными словами, если европеец, реализуя коммуникативные действия на “национальном языке”, говорит многосложными и (часто) изменяемыми словами (вербальными клише), производя, таким образом, огромное количество отдельных различных слов-форм, то китаец, употребляя свои вербальные клише, говорит односложными неизменяемыми словами-“-фтонгами” (слова, состоящие из двух-трех-четырёх “-фтонгов”, можно считать словосочетаниями: “электрическая (“молния”-) повозка” (=трамвай)). Китайских односложных неизменных слов заведомо меньше, чем слов-форм в любом индоевропейском языке. Поэтому с точки зрения удобства фиксации иероглифы едва ли не эффективнее для изолирующего языка, чем буквы. Развитие китайской иероглифики на японской языковой почве (как, впрочем, и в иных общностях – корейской, вьетнамской) дает возможность наблюдать, что удобство становится главным обстоятельством, определяющим целесообразность использования или неиспользования иероглифов как средства фиксации коммуникативных клише.

**2. Атомистический (естественно аналитический) подход к вербальной форме дезориентирует теорию вербальной коммуникации,** поскольку представляет вербальный коммуникативный процесс в виде упрощенной прямоточной схемы “предметный знак – мыслимое значение”, спекулируя на телесной очевидности, утверждая концептуальную простоту процесса смыслообразования.

Такой подход заставляет, например, полагать, что изучение китайского языка прямо связано с изучением иероглифов (или даже тождественно их изучению), а сам скрывающийся за китайской иероглификой коммуникативный процесс обладает какими-то принципиальными отличиями от русского, английского, греческого и прочих “алфавитных”.

По большому счету различия в этой сфере не более драматичны, чем любые другие культурно специфические практики (например, использование палочек для еды вместо ви-

лок). Китаец, произносящий в конкретной ситуации приветствие, делает принципиально то же самое, что европеец, не мысля при этом никаких иероглифов, так же как и европеец не мыслит никаких звуков или букв, составляющих вербальную часть акта приветствия. Более сложные действия, с более сложными объектами, с вовлечением более сложных схем и фреймов также планируются и производятся в соответствии с субъектно устанавливаемыми параметрами коммуникативного пространства. В дальнейшем они могут быть вовлечены в еще более сложный процесс семиозиса с участием средств фиксации, например, иероглифов.

Поскольку устная форма коммуникативного взаимодействия первична по отношению к любым способам ее фиксации, неграмотный китаец и неграмотный европеец, при условии их умения общаться на родном языке, принципиально едины в своем отношении к устным коммуникативным моделям “национального языка”: они знают коммуникативные модели (клише, или “язык”) и способны быть информантами при выяснении того, *как* говорят в известных им сегментах коммуникативных сообществ в данных коммуникативно-синтаксических ситуациях. В свою очередь, они принципиально едины и в своем отношении к средствам фиксации, знание которых приобретает путем специального обучения как особая культурная практика (без которой, впрочем, пойдя на некоторые жертвы, можно и обойтись). Умение читать и писать, безусловно, расширяет и дисциплинирует сознание грамотного носителя языка, но не избавляет письменный “язык” от его подчиненной роли, его вторичного статуса по отношению к устной форме коммуникации. Существование достаточно сложных культурных практик возможно благодаря устной трансляции коммуникативных действий (знания).

Императив атомистического подхода к вербальной форме значительно усиливается и изоцируется вовлечением иностранца (или просто интерпретанта, не вполне понимающего устную или письменную речь, например, содержащую устаревшие языковые клише) в концептуальную схему описания естественного вербального процесса. Теория “языка” возникает тогда, когда заведомо смыслообладающие коммуникативные действия (устные или зафиксированные письменно) становятся проблемным полем, требующим специальных методов возделывания для обретения смысла. Для понимания не (вполне) привычных вербальных действий интерпретант нуждается в грамматическом “переходнике”, то есть устройстве установления корреляций между знакомыми и привычными ему вербальными действиями, с одной стороны, и непонятными, совершенными с использованием незнакомых вербальных моделей, с другой. В ходе установления этих корреляций наиболее заметными становятся вербальные данные, которые заранее, в рамках схемы “знак–значение”, уже признаны смысло-формальными элементами-слагаемыми естественной речи. Возникает, таким образом, неоправданный переизбыток элементарности и предметности (“ан-атомизма”) в теоретической интерпретации вербального материала, следствием чего является предметное описание вербальных элементов, воплощенное в строгой предметно представленной системе “языка”.

Если *на практике* (в действительности) эти корреляции устанавливаются на основании общности мыслимых коммуникативных ситуаций, тождества их невербальных параметров, когнитивного единства (так, например, перевести просьбу открыть окно с русского на английский можно только на основе невербально мыслимого “желания открытого окна”, принципиально единого для англичанина и русского, в данной ситуации; ввиду этого перевод с языка на язык представляет собой не перевод слов, а перевод действий), то *в теории* устанавливаемые корреляции становятся избыточно словесными, ориентированными на отношения предметных элементов, которым приписываются автономные значения. Перевода требует иностранец, проецирующий незнакомые вербальные данные на грамматическую матрицу, созданную с различной мерой подробности и успешности. В то же время аутентичный участник ситуаций не испытывает необходимости в элементарном аналитическом описании того, что происходит в коммуникативном пространстве и стоит за предметными элементами.

Так, китаец, вовлеченный в аутентичную лингвокультурную ситуацию, вовсе не нуждается в грамматике для использования и интерпретации знакомых с детства коммуника-

тивных клише. Зато для внешнего инокультурного интерпретанта “грамматика китайского языка” является неперенным условием понимания (например, китайский язык для *русскоязычных* начинающих), поскольку позволяет заручиться способами установления соответствий между русскими и китайскими коммуникативными моделями. Если грамматика есть описание языка, а язык есть все, что говорится и записывается (то есть если “у нас больше ничего нет”, как признавался Платон), то китайским языком становится весь набор иероглифов, отражающих все особенности китайского говорения, а заодно мышления (если при этом постулировать в мышлении вербальный компонент).

Более того, поскольку поиски грамматики, понимаемой по-европейски, обнаруживают существенные особенности (вроде “отсутствия множественного числа”), европеец готов констатировать, что китайская грамматика в западном понимании вовсе отсутствует (как не было ее и в самой китайской традиции до нового времени). Де факто это означает, что из двух традиционных составляющих “языка” (“грамматика плюс словарь”) для китайского в глазах европейца остается только последнее – список иероглифов, заслоняющих своей причудливой предметностью естественный коммуникативный процесс. Представить, что в сознании китайца, говорящего на родном языке, вовсе отсутствуют иероглифы (точно так же, как в сознании европейца, говорящего на родном языке, отсутствуют буквы), для внешнего интерпретанта оказывается почти невозможным.

Эта невозможность усугубляется распространенным мнением, что китайские иероглифы дают сразу информацию о понятиях, минуя стадию виртуального озвучения. Здесь снова следует констатировать, что такая теоретическая позиция обязана фактом своего существования предметному (спонтанно-аналитическому, “анатомистическому”) подходу к вербальной форме: если смысл соответствует слову, из слов состоит речь, и слово изображается иероглифом, то смысл можно изобразить иероглифом, минуя стадию фонетического слова, то есть прямо воспринимать смысл как картинку.

Действительно, картинка может быть независимой от фонетической формы (например, дорожный знак в данном месте для данного участника дорожного движения). Однако в таких случаях речь идет о сугубо обусловленной статической ситуации, в которую данный несловесный знак как элемент действия вписывается согласно определенным заранее, стабильным параметрам. В случае речи коммуниканты имеют дело с постоянно меняющимися когнитивными условиями вербальных действий, которые порождаются и интерпретируются в соответствии с меняющейся позицией говорящего (пишущего) в коммуникативном пространстве. Перед читателем иероглифов (как и перед читателем букв) развертывается чья-то деятельность, осуществляемая с использованием вербального канала, с меняющимися многофакторно мыслимыми ситуациями, сопряженными с вербальными элементами (как при порождении, так и при интерпретации). Иными словами, автор, отразивший на письме свое вербальное действие, должен предстать перед читателем сначала в вербальном облике, чтобы потом открыть свой невербальный замысел (когнитивное состояние). Знаки в случае письма заведомо ориентированы на вербальные действия. Поэтому при восприятии иероглифического текста от материи слов нельзя удалиться слишком далеко. В любом случае китайский иероглифический текст предназначен для того, чтобы воссоздавать естественную коммуникативную ситуацию *говорения*, а не “телепатирования”.

Так, причина, по которой нельзя научить ребенка читать прежде, чем он станет хорошо говорить, состоит в том, что смыслообразующее чтение есть воспроизведение по визуальным знакам заранее известных коммуникативных клише, усвоенных из практики устного вербального взаимодействия. За знаком, отсылающим к той или иной коммуникативной модели (клише), должна стоять сама модель, усвоенная аутентичным участником коммуникации как часть уже известной ему ситуации коммуникативного взаимодействия.

Особое значение в употреблении и понимании коммуникативных клише имеет их порядок, то есть присутствие в данный момент, в данном месте последовательности организуемого действия. В линию выстраиваются коммуникативные модели, маркированные знаками, ассоциированные с первичной для них устной формой, отказываться от которой

значит отказываться от базовых привычных способов интерпретации вербального действия. Иными словами, если в самом желании “сообщить, что шанхайский рынок вырос сегодня на полтора процента”, нет вербального компонента – и здесь, в когнитивной области говорящего можно было бы представить отдельную картинку, то в вербальном действии, реализуемом в письменной форме (например, в новостной ленте: “Шанхайский рынок акций вырос сегодня на полтора процента”), присутствует линейно-временная дискретность, которую невозможно представить в виде отдельного иероглифа. При этом в отличие от картинки (например, на телеэкране: сегодняшняя дата, график шанхайской фондовой биржи с соответствующим логотипом вместо названия, кривая роста и цифра “+1,5%”) надпись в новостной ленте изначально ориентирована на вербальный канал, соответственно, интерпретировать его в тождестве можно только по изначально назначенным *вербальным* правилам игры.

В общем смысле суждение о том, что иероглифический текст можно читать как картинку, минуя стадию озвучения, зиждется на методологически некорректной простой модели смыслообразования (реализованной в “Кратиле” и в других спонтанных объяснениях смыслообразующего речевого процесса): речь состоит из слов; каждое слово имеет значение. Для изучающего китайский язык европейца иероглифы как будто только подтверждают эту модель, заранее известную ему по всем античным и большинству современных опытов описания вербального материала: иероглиф как раз изображает то самое значение слова. Соответственно, его можно просто видеть, без обращения к звучанию. Это, в свою очередь, приводит к заключению, что, если значение речи состоит из значений слов, то речь можно представить в виде набора картинок (“отдельных значений”).

Оставляя в стороне вопросы о том, что далеко не все иероглифы в китайском языке иконичны, что “все слова многозначны” и что существует множество слов, смысл которых нельзя изобразить, важно отметить, что любая вербальная последовательность (в том числе последовательность китайских слов, записанных иероглифами) представляет собой не количественную сумму значений, а целостное коммуникативное действие, общий замысел которого (мыслимые параметры) интегрирует входящие в его состав (бессмысленные сами по себе) языковые клише. Так, в конкретном коммуникативном действии не вызывает никаких сомнений, что значит слово “я”, в то время как ни один словарь (“собрание значений слов”), конечно, на данное значение (данного конкретного говорящего) не указывает. Аналогично разрешаются сомнения в отношении всех слов, назначаемых говорящим для исполнения своих коммуникативных целей.

Иначе говоря, коммуникант (источник высказывания) предъявляет интерпретанту не механическую сумму значений слов, а коммуникативное единство, при реализации которого его вербальные элементы не складываются, а синтезируются: их избирают в соответствии с мыслимой типологией коммуникации и подвергают означиванию; они приобретают тождественное значение в единстве субъектного коммуникативного действия. Элементы высказывания оказываются не элементами объективного мира, передающими его состояние, а элементами развернутой к говорящему ситуации, воспринятой и отраженной в действии.

Различение единичного значения от связного всегда наблюдалось от античности до новейшего времени (например, в соссюровской концепции значения и значимости). Так, еще Аристотель замечал, что слова имеют истинное или ложное значение только “в соединении или разъединении”, а вне их слово не истинно, и не ложно: “Имена же сами по себе и глаголы подобны мысли без соединения или разъединения, например, “человек” или “белое”; пока ничего не прибавляется, такое слово не ложно и не истинно, хотя и обозначает нечто” (“Об истолковании”, 16а). Введение аспекта акциональности в этиологию любой вербальной формы заставляет несколько скорректировать такую точку зрения: определяя отличие связной и изолированной позиций, следует говорить не о связи слова с другими словами (так, у Аристотеля соединение или разъединение обеспечивается как минимум двумя словами), а о вовлеченности элемента (в том числе слова) в коммуникативное действие, то есть о наличии актуальной коммуникативной синтагмы, в которой реализуется личное действие, в котором, в свою очередь, элементы приобретают тождественно мысли-

мое значение. Так, для актуального смыслообразования может быть достаточным и *одного* слова, но непременно вовлеченного в коммуникативную синтагму.

Однако европейская объяснительная модель смыслообразующего высказывания традиционно строится, скорее, на аристотелевской оговорке: слово в изолированном состоянии (без соединения или разъединения) “обозначает нечто”. Признается, таким образом, что слова имеют собственные значения и формируют смылосодержащие высказывания сами по себе (в то время как у слов нет источников смыслообразования, кроме “связывающего/разъединяющего” их коммуниканта, который и наделяет их актуальными значениями в своем действии).

Иными словами, рассуждение о возможности читать иероглифы как картинки предполагает простую (неточную) объяснительную модель “знак–значение”: сколько иероглифов (картинок), столько значений, формирующих общий смысл высказывания. В действительности смыслопорождение в “картинках”–иероглифах также происходит только благодаря авторскому “соединению и разъединению”, то есть в составе организованного кем-то коммуникативного действия. Актуально употребленные слова-иероглифы невозможно понимать, заранее выучив, поскольку они всегда отчасти новые, осознанные в новых субъектно установленных параметрах действия. Значение “картинки” реализуется и затем восстанавливается в русле изначально избранного для действия вербального канала.

3. Наконец, **ценность атомизма как метода в области языкознания определяется по мере актуальности и работоспособности в данной описательной схеме, а не в абсолютном измерении.** С одной стороны, как уже было отмечено, атомизирующий метод, интегрированный в процедуры интерпретации естественного вербального процесса, превращает последний в “язык”, понимаемый как система автономных смысло-формальных элементов. Это, в свою очередь, существенно понижает эвристический потенциал любой объяснительной концепции, использующей “язык” как теоретический инструмент. Так, например, знание “языка” как единого средства общения приходится констатировать у всех носителей; на самом же деле “знание языка” представляет собой неоднородное владение различными коммуникативными клише в различных сегментах лингво-культурных сообществ. Приходится навязывать мышлению вербальные когнитивные процедуры, в то время как они принципиально лишены словесного компонента, признавать значения за элементами различных уровней анализа в то время как значения локализованы, скорее, за пределами вербальной формы, на довербальной стадии осознанной ситуации действия (дискурса), которую “язык” принципиально игнорирует как фактор и не включает в сферу анализа и описания. Приходится подменять “языком” естественный коммуникативный процесс, гораздо более сложный и многофакторный, чем система предметных знаков с приписанными им значениями, и пр. С другой стороны, языковой атомизм, породивший словесную грамматику, подтверждает свою эффективность в качестве мнемотехнического метода. Так, грамматическое описание представляет собой твердую опору в случае установления корреляций между вербальными моделями различных сообществ (эти корреляции, впрочем, реализуются благодаря коммуникативному невербальному тождеству); вследствие смысловой нетождественности своих единиц грамматика выдвигает перед интерпретантом, не вовлеченным в аутентичную коммуникацию, практическое требование овладевать спецификой конкретных ситуаций коммуникации и общих культурных практик, отраженных и вовлеченных в коммуникативные действия, и др.

Ту же относительность нужно констатировать и в области естествознания. В ограниченном наборе ситуаций атомизм как учение о мельчайших частицах вещества оснащает исследователя эффективным средством моделирования процессов и состояний. Однако нужно признать, что античное стремление найти неделимые основные элементы мироздания и понять, таким образом, его первопричины, в конце концов, упирается в признание невозможности само-идентифицирующихся (автономных, тождественных) объектов (в том числе частиц), а также в кардинальную роль не самого факта их существования, а их “синтаксиса”, который устанавливается сознанием по мере субъектной актуальности. Мнимо-автономные объекты часто вводят своей очевидностью в заблуждение, до тех пор пока не становятся частью какой-то иной, гомогенной панорамы, в которую их включает

сознание и в составе которой их уже не различает. Иными словами, модели сегментов реальности составлены из объектов и их взаимодействий, которые выделены и признаны по субъективным основаниям актуальными. Так, предел деления прежнего атома постоянно отодвигается, стандартная модель обростаёт подробностями, элементарные частицы (“атомы”) становятся все более “неделимыми”, будучи элементарными на каждой из стадий делящегося погружения в малое. В том же смысле установленный факт, что “человек в значительной мере состоит из (частиц) воды”, эффективен для ограниченного набора объяснительных моделей, однако, за пределами этих моделей значение имеют иные списки факторов (в том числе частиц иных веществ) и их связи, выделенные без участия частиц воды. При этом состав участников этих списков формируется по критерию правдоподобности и/или практической эффективности.

Если в отношении назначенности физических объектов можно не соглашаться, рассчитывая на существование нерушимых констант, например, веря в то, что скорость света есть предельно допустимая (допущенная Богом) скорость, или в то, что стандартная модель элементарных частиц имеет законченный и постоянный вид (хоть, впрочем, введение новых элементов, например, бозона, с очевидностью обнаруживает ее незаконченность), то в отношении лингвистического объекта вопрос решается вполне однозначно и просто: среди языковых действий (естественного вербального материала) нет таких, которые были бы внесубъектными (в которых – лично и ситуативно – не назначались бы объекты, связи, параметры ситуации вербального действия и пр.). Иными словами, лингвистические объекты всецело пребывают в компетенции номинализма, усугубленного изъятием “языка” в каждом конкретном случае.

Параллель между элементарными частицами вещества и элементами языкового процесса представляется возможной по признаку телесности, которая сама по себе бесмысленна и нетождественна как в случае изолированного слова (звука), так и в случае чистого вещества. Смысл и тождество возникают при вовлечении элементов в (коммуникативно-)синтаксические ситуации, в лично установленные связи, то есть в результате деятельности индивидуального сознания, оперирующего понятиями целесообразности и правдоподобности (“одобрения”, по Витгенштейну). С этой точки зрения попытки видеть в алфавите “язык” сродни попыткам видеть в атомах строение мира. В обоих случаях речь идет о предельных стадиях делимости телесного (предметного) компонента, который рассматривается сам по себе, вне конкретного коммуникативного действия, вне акта сознания. В результате в естествознании возникает концепция “смыслопорождающего” вещества (атомизм, объясняющий вещь из ее составляющих), в языкознании возникает концепция “смыслосодержащего” “языка” (так, например, в спровоцированных строгим предметным видением суждениях о “языке” звуки-буквы часто представляются строительным материалом смыслосодержащей речи: “ведийские риши сумели создать уникальную систему классификация звуков древнеиндийского языка и осознали звук как мельчайшую составляющую языкового потока” (В. Видунас); “Из незначительных букв складываются знаменательные слова” (А.И. Кобзев); “Нидэм обращает внимание на параллель между бесконечным разнообразием слов, образуемых из ограниченного числа букв алфавита, и той идеей, что небольшое число разновидностей элементарных частиц может через разнообразные сочетания образовать бесконечное количество материальных тел” (В.Г. Лысенко); “Первая [категория фактов] – это общий индо-европейский субстрат обеих традиций – греческой и индийской, и прежде всего, общий принцип алфавитного письма, согласно которому из определенного небольшого числа букв можно создать бесконечное число языковых образований” (В.Г. Лысенко). В рамках такого подхода возникновение смысла в естественной речи приходится интерпретировать как чудо рождения осмысленного из бессмысленного.

В то же время естественное смыслообразование с участием слов (коммуникативный синтаксис вербального действия) отличается от “системы языка” в той же мере, в какой комплексное взаимодействие разноформенных объектов, наблюдаемое в выделенных сегментах реальности, отлично от элементарного строения вещества. Атомарное понятие “язык” навязывает выделяемым в языке элементам то, что они не могут вместить, ввиду

действия в естественном коммуникативном процессе иных, не заданных вербальными (в том числе звуковыми, буквенными) элементами сил. То же в случае понятия о мире как составленной из атомов системе, в которой элементам навязываются функции, невозможные для них ввиду действия иных, непосредственно не заданных частицами, сил.

Иными словами, смыслообразование возможно только как деятельность сознания, лично “составляющего” назначенные объекты и производящего коммуникативное действие. Только субъектный синтаксис избавляет естественный аналитизм (платоновские буквы-элементы, античный и современный атомизм) от детерминизма и бессмысленности (а также “смехотворности”, представленной в “Кратиле”) и легализует, вопреки “очевидной” всетелесности, свободу выбора. С точки зрения субъектного смыслообразующего сознания (а иной “точки зрения” в панораме бытия не усматривается), материя необходима только затем, чтобы быть основанием личной свободы, то есть главного искомого в гуманитарном эвристическом процессе. В то время как сама материя не порождает смысл и не видит его ни в чем.

Поэтому плененность метафорой атомизма сама собой ограничивается стремлением к ценности смысла (смыслообразования). Признание за европейским “алфавитизмом” более совершенного способа представления “языка” и удивление перед китайским способом представления “сказанных идей” не адекватны реальности коммуникативного процесса, который принципиально един для пользователей букв и иероглифов. Нетождественность элементов (неспособность к смыслообразованию вне коммуникативной синтагмы, то есть вне сознания) подчеркивает недостаточность ан-атомистического принципа исследования естественного вербального процесса. Опасность втягивания смыслообразования в материю слов (равно как и втягивание бытия в “атомы”) противоречит реальной творческой свободе сознания, выраженной в организации коммуникативной синтагмы вербального действия.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель 1978 – *Аристотель*. Сочинения в четырех томах. М., 1978. Т. 2.  
Вдовиченко 2008 – *Вдовиченко А.В.* Расставание с “языком”. Критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008.  
Кобзев 1994 – *Кобзев А.И.* Учение о символах и числах. М., 1994.  
Лукреций 1983 – *Тит Лукреций Кар*. О природе вещей. Пер. Ф.А. Петровского, вступ. ст. Т.В. Васильевой. М., 1983.  
Лысенко 2011 – *Лысенко В.Г.* Происхождение атомизма: лингвистическая гипотеза / Шабдаракаша. Зографский сборник. Выпуск 1. Под ред. Я.В. Василькова и С.В. Пахомова. СПб., 2011. С. 99–112.  
Нидэм 1962 – *Needham J.* Science and Civilization in China. Volume 4. Physics and Physical Technology. Part. 1. Cambridge, 1962.  
Платон 1990 – *Платон*. Собрание сочинений. В 4-х т. М., 1990. Т. 1.